

Тычинин Михаил

**Что хотел сказать Ф.М.
Достоевский своим романом
"Братья Карамазовы"**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
М69

М69 **Михаил Т.**
Что хотел сказать Ф.М. Достоевский своим романом "Братья Карамазовы" /
Тычинин Михаил – М.: Книга по Требованию, 2025. – 60 с.

ISBN 978-5-519-78061-2

ISBN 978-5-519-78061-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2025

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2025

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

угрызеніемъ); между собою они соперники и даже враги — сначала на почвѣ раздѣла имущества, а затѣмъ и на почвѣ разврата: каждому изъ нихъ до изступленія хотѣлось овладѣть нѣкоей Грушенькой — особой болѣе, чѣмъ сомнительнаго поведенія, но одинаково очаровавшей этихъ „героевъ“. Въ пылу ревности Димитрій готовъ былъ убить ненавистнаго отца, что, можетъ-быть, и сдѣлалъ бы подъ пьяную руку; его упредилъ, однако, четвертый сынъ главы этой „семейки“ — лакей Смердяковъ, поистинѣ „сынъ беззаконія“, потому что былъ побочнымъ сыномъ Карамазова отъ грязной и страшной идиотки-нищенки — Лизаветы Смердящей. Смердяковъ, наслышавшись рѣчей Ивана о томъ, что Бога нѣтъ и что поэтому „все позволено“, въ угоду ему, своему кумиру, и совершилъ отцеубійство, искусно схоронивъ концы. Иванъ, въ сущности только теоретизировавшій, а въ практикѣ своей жизни бывшій порядочнымъ человѣкомъ, никакъ не ожидалъ, чтобъ его, чисто теоретическія, рѣчи породили столь страшное дѣло. Онъ чуть не сходитъ съ ума, галлюцинируетъ и невыносимо страдаетъ. Власти подозреваютъ въ преступленіи Димитрія: всѣ улики оказываются противъ него. Его судятъ и осуждаютъ на каторгу. Въ романѣ полностью приводятся рѣчи — прокурора, защитниковъ, — блестящія рѣчи, съ точки зрѣнія юридическаго краснорѣчія, но какъ нельзя лучше въ то же время обнаруживающія предъ читателями всю слѣпоту и бездушіе нашей Ѳемиды. — Что касается Алеши, то онъ внѣ этихъ передрагъ; живя то въ монастырѣ — подгородномъ, у старца Зосимы въ качествѣ послушника, то у родителя своего, Алеша все время является ангеломъ-хранителемъ „страждущихъ и обремененныхъ“ грѣхами и заботами; всюду, гдѣ онъ ни появляется „въ міру“, вноситъ онъ съ собою свѣтъ и тепло. Оттого всѣ такъ его и любятъ. Самъ онъ душою и сердцемъ привязанъ къ старцу Зосимѣ — съ любовію и благоговѣніемъ слушаетъ его рѣчи и поученія, даже записываетъ ихъ.

Зосима — солнце въ романѣ: всѣмъ онъ свѣтитъ и всѣхъ грѣетъ своею неистощимою любовію, — конечно, кромѣ тѣхъ, кто отрицательно относится къ нему и закрывается отъ его лучей. Въ романѣ отведено много

мѣста ученію и рѣчамъ старца Зосимы, равно какъ и рѣчамъ атеиста Ивана.

Что хотѣлъ сказать этимъ своимъ романомъ Достоевскій? Этотъ вопросъ, столь затрудняющій многихъ читателей Достоевскаго, по причинѣ огромной сложности романа, обилія самыхъ разнообразныхъ лицъ и сценъ, разрѣшается, однако, безъ особеннаго затрудненія, если взглянуть надѣло съ точки зрѣнія самого Достоевскаго. Что такое былъ Достоевскій? Это былъ прежде всего и больше всего человекъ—въ лучшемъ, высшемъ смыслѣ этого слова. Вопросы, которые его волновали и мучили болѣе всего, это вѣковѣчные, старые, какъ міръ, и новые, какъ завтрашній день, вопросы человека о Богѣ, мірѣ, безсмертіи, вопросы о счастіи и смыслѣ жизни. Гигантъ духа, Достоевскій не замыкался въ какія-либо сословныя или партійныя перегородки, и потому понять его съ точки зрѣнія партіи, кучки невозможно.

Ставя и разрѣшая вопросы общечеловѣческаго характера и значенія, Достоевскій ведетъ къ Богу, по ведетъ своимъ, особымъ путемъ, мучительно выстраданнымъ и всесторонне продуманнымъ. Сразу чувствуется, что это надежный руководитель, знающій всѣ входы и выходы, всѣ извилины и тропинки.

И какъ же было не вскипѣть негодованіемъ этому сознательнѣйшему и глубокоубѣжденному христіанину, когда его идейные противники, съ мнимой высоты своего атеизма, третировали его какъ „мракобѣса“ и „ретрограда“. — „Мерзавцы дразнятъ меня ретроградною вѣрой въ Бога“, — возмущался Достоевскій въ своемъ дневникѣ; а извѣстному Кавелину писалъ: „Вы бы могли отнести ко мнѣ... не столь высокомѣрно.. И въ Европѣ такой силы атеистическихъ выраженій нѣтъ и не было. Стало-быть, не какъ мальчикъ же я вѣрую во Христа и Его исповѣдую, а черезъ большой горнило сомнѣній моя „осанна“ прошла“...

Невозможно охватить всѣ мотивы, всѣ мысли, чувства, ощущенія, то едва трепещущія, то непрекаты- вающіяся страшными волнами на морѣ той жизни, что вмѣстилъ въ своей книгѣ великій писатель. Но можно сдѣлать главнѣйшія обобщенія, группировки тѣхъ

жизненныхъ явленій, фактовъ, которые въ давящемъ изобиліи находимъ въ романѣ Достоевскаго.

Въ романѣ мы должны отмѣтить прежде всего старика Карамазова и старца Зосиму, стоящихъ какъ бы на двухъ противоположныхъ полюсахъ жизни. Между ними, какъ градациі, размѣщаются всѣ остальные лица романа, одни—тяготѣющія къ первому, другія ко второму. И все это сознательно или безсознательно стремится къ счастью, при чемъ иные ищутъ его судорожно, мучительно; и все же безрезультатно, потому что не тамъ и не такъ они ищутъ его. Великій писатель даетъ намъ всестороннее рѣшеніе проблемы человѣческой жизни, рѣшаетъ вопросъ и отрицательнымъ и положительнымъ путемъ. Начнемъ съ разсмотрѣнія перваго.

Предъ нами старикъ Карамазовъ. Постигъ ли онъ тайну жизни? Счастливъ ли онъ? Повидимому, съ этимъ вопросомъ естественнѣе всего обратиться къ нему самому: вѣдь то, что называютъ счастьемъ, въ значительной мѣрѣ субъективная вещь,—каждый понимаетъ счастье по-своему, поскольку самъ отвѣчаетъ за себя. Но это сознаніе права самому такъ или иначе понимать и устроить свое счастье, далеко не можетъ служить мѣриломъ истинности и подлинности самаго счастья: человѣкъ нерѣдко обманывается, и въ ослѣпленіи, можетъ-быть, невольномъ, принимаетъ за счастье нерѣдко призракъ его, а подчасъ прямо-таки и суррогатъ счастья. И вотъ, насколько намъ извѣстенъ старикъ Карамазовъ, какъ человѣкъ, мы, вѣроятно, услышали бы отъ него циничное признаніе, что онъ собою доволенъ и иного счастья не желаетъ, развѣ лишь, чтобъ Грушенька навѣщала его почаще, а сыночекъ Митя провалился бы куда-нибудь въ тартарары. Признаемъ ли мы его счастье? Нѣтъ. Можно признать счастье свиньи, по уши закопавшейся въ зловонной жижѣ, можно признать счастье мокрицы, облюбовавшей затхлый и заплесневѣлый уголъ, но вѣдь человѣкъ-то, хочется думать, выше свиньи и мокрицы. Мы этого не можемъ забыть, не должны забывать. И какъ бы ни чувствовалъ себя прекрасно старикъ Карамазовъ, этотъ „отецъ лжи“ (какъ онъ разъ обмолвился невзначай, но удачно, на свой счетъ), утоная въ грязи распутства, мы единогласно и безъ колебаній отрицательно отне-

семся къ такому счастью. Больше того: мы ясно видимъ, что старикъ лжетъ—мы на вѣримъ даже въ его субъективное счастье. Его душевныя переживанія—это переживанія не счастнаго человѣка: на каждомъ шагу онъ волнуется, раздражается, ревнуетъ, боится, ненавидитъ, бранится и т. д.; болѣе же всего онъ чувствуетъ себя одинокимъ и презираемымъ,—и презираемымъ „по дѣломъ“. А вѣдь онъ не безъ гордости—этотъ „эпикуреецъ съ профилемъ римскаго патриція временъ упадка“.

Чтобы лучше понять идейный смыслъ, вложенный авторомъ въ эту фигуру, надо имѣть въ виду прежде всего полную безпринципность Карамазова-отца: ни Бога, ни совѣсти, ни стыда, ни даже практической пользы (хотя послѣднее и не совсѣмъ)—ничего не признастъ этотъ гнусный выродокъ человѣчества: единственно лишь голосъ чувственной страсти, пріятныя фізіологическія ощущенія. Никакой борьбы съ собой, ни малѣйшаго самоограниченія. Центръ тяжести всецѣло перенесенъ въ область плоти, душа забыта и игнорируется совершенно... И вотъ плоды: сплющенное свинство и безпутство. „Смотрите,—какъ бы такъ говорить намъ Достоевскій: вотъ человѣкъ, отрицающій природу и права духа; онъ только плоть, онъ хочетъ быть только ею одною, всецѣло, безъ остатка, и вотъ предъ вами жизнь его—жизнь единственно плоти. Некрасиво, что и говорить,—мерзко, но зато логически послѣдовательно; съ отрицаніемъ духа, съ его святынями—Богомъ и совѣстью, никто и ничто не имѣетъ права остановить человѣка: „все позволено“, и полная разнузданность—его логическій удѣлъ и неотъемлемое право“.

Жизненно-практическій выводъ отсюда ясенъ: нельзя, не подобаетъ человѣку центръ жизни полагать въ области плоти; нѣтъ и не можетъ быть въ такой жизни ни *счастья* ни смысла...

Но если тайна счастливой и осмысленной жизни не у Карамазова-отца, то, можетъ быть, она у его старшаго сына, Дмитрія? Если нельзя, не слѣдуетъ сущность нормальной жизни сводить къ удовлетворенію плотскихъ потребностей и желаній, то, можетъ быть, и тѣло и духъ почтить одинаковымъ вниманіемъ и будетъ мудрымъ рѣшеніемъ вопроса о нормальной жизни? И на этотъ вопросъ нашъ писатель-учитель говорить

намъ: нѣтъ, и говоритъ яркимъ и сильнымъ образомъ, какъ пророкъ. Димитрій временами весь во власти своего тѣла; похоть влечетъ его часто съ неудержимой силой въ то же болото, изъ котораго не вылазитъ его отецъ. Но у Димитрія, временами же, просыпается совѣсть. И вотъ разныя половины его „я“ съ одинаковой силой тянуть этого человѣка въ разныя стороны, и Димитрій тогда въ нашихъ глазахъ и въ собственныхъ—несчастливая живая арена борьбы двухъ могучихъ силъ. На всемъ протяженіи романа онъ мечется, какъ шальной, справа налево, слѣва направо, то хохоча, то рыдая, то дѣлая гнусное предложеніе, то являя настоящій подвигъ рыцарской честности, въ общемъ же истерически чувствуя фальшь и ненормальность своего положенія.

Не напрасно авторъ вывелъ Димитрія Карамазова съ сильнымъ тѣломъ и большой душой: на такомъ экземплярѣ яснѣе видно, что и Богу и мамонѣ ни одновременно, ни попеременно служить нельзя. Мученія, терзанія, несчастная жизнь будутъ и въ этомъ случаѣ логическимъ удѣломъ. Конечно, маленький, слабенькій, пошленькій человѣкъ, можетъ быть, лучше Димитрія смогъ бы примирить интересы слизняка съ крохами своей маленькой совѣсти, и явилъ бы намъ образъ жизни тихой, безмятежной и, по-своему, счастливой; но всестороннее ничтожество такого типа и безъ содѣйствія Достоевскаго не оставляетъ въ насъ никакого сомнѣнія насчетъ его этической и всякой иной цѣнности...

Такимъ людямъ, какъ Димитрій Карамазовъ, чрезвычайно трудно найти равновѣсіе. Широкая натура много натворитъ бѣдъ, много и настоящаго геройства можетъ проявить, но все же будетъ чувствовать себя внѣ колес. Широкимъ натурамъ надо „перебѣситься“ и, главное, пострадать; тогда только и откроется имъ возможность устойчиваго положенія. Таковъ смыслъ сложной фигуры Димитрія Карамазова.

Въ душѣ Димитрія крѣпко сидитъ любовь къ Богу и правдѣ, и она-то, эта любовь, не даетъ ему погибнуть до конца.—„Россію люблю, Алексѣй, русскаго - Бога люблю, хоть я самъ и подлецъ!“ восклицаетъ онъ, обращаясь къ любимому брату. Слово „подлецъ“, которымъ, кстати сказать, совершенно искренно обзываетъ себя Димитрій, продиктовано тѣмъ же чувствомъ правды.

Но съ своимъ чувствомъ правды, до капитальныхъ страданій своихъ, связанныхъ съ судомъ надъ нимъ, яко бы отцеубійцей, Димитрій все же смотрѣлъ какъ-то отвлеченно впередъ; смутно, туманно проступалъ предъ его воспаленными отъ кутежей глазами идеаль... Что такое „русскій Богъ“? и что именно любилъ онъ въ этомъ страшно огромномъ и разнообразномъ, что называетъ онъ Россіей? Яснаго и точнаго отвѣта онъ не могъ бы дать на эти вопросы. Глаза его прозрѣли лишь въ страданіяхъ, выпавшихъ на его долю. Димитрій видитъ знаменательный сонъ: „онъ гдѣ-то въ степи... везетъ его въ слякоть на телѣгѣ мужикъ... И вотъ недалеко селеніе, виднѣются избы—черныя, пречерныя, а половина избъ погорѣла—торчатъ одни обгорѣлыя бревна. А при въѣздѣ выстроились на дорогѣ бабы, много бабъ,—цѣлый рядъ, все худыя, испытія, —какія-то коричневыя у нихъ лица. Вотъ одна съ краю, такая костлявая, высокаго роста, кажется ей лѣтъ 40, а можетъ, и всего только 20..., а на рукахъ у нея плачетъ ребеночекъ, и груди-то, должно быть, у ней такія иссохшія, и ни капли въ нихъ молока. И плачетъ, плачетъ дитя, и ручки протягиваетъ, голенькія, съ кулаченками, отъ холоду совсѣмъ какія-то синія... Что они плачутъ? Чего они плачутъ?—спрашиваетъ Митя.—Дите, отвѣчаетъ ему ямщикъ,—дите плачетъ...—Да отчего оно плачетъ? домогается, какъ глупый, Митя: почему ручки голенькія?.. почему его не закутаютъ. —А иззябло дите, промерзла одежда...—Да почему это такъ? почему?—все не отстаетъ глупый Митя.—А бѣдные, погорѣлые, хлѣбушка нѣтути, на погорѣлое мѣсто просятъ.—Нѣтъ, нѣтъ,—все будто еще не понимаетъ Митя: почему это стоятъ погорѣлыя матери? почему бѣдные люди? почему бѣдно дите? почему голая степь? почему они не обнимаются, не цѣлуются, почему не поютъ нѣсенъ радостныхъ, почему онѣ почернѣли такъ, почему не кормятъ дите“?... Нѣтъ отвѣта... Но отвѣтъ уже зрѣлъ въ глубинѣ Митиной души, а на судѣ вылился въ опредѣленную и яркую форму:

„Господа!“—воскликнулъ Митя въ какомъ-то вдохновеніи:—„всѣ мы жестоки, всѣ мы изверги, всѣ плакать заставляемъ людей, матерей и грудныхъ дѣтей; но изъ всѣхъ—пусть ужъ такъ будетъ рѣшено теперь—изъ

всѣхъ я самый подлый гадъ! Пусть!.. Каждый день моей жизни, я, бѣя себя въ грудь, обѣщаль исправиться, и каждый день творилъ все тѣ же пакости“...

Сонъ Димитрія былъ, конечно, не иное что, какъ сильный укоръ совѣсти, обостренной страданіями. Димитрій сталъ на твердую почву. Теперь онъ зналъ, что дѣлать и какъ быть съ собой: заговорившая совѣсть была тому надежной порукой.

Будущее Димитрія намъ неизвѣстно: Достоевскій, какъ уже было упомянуто, успѣлъ написать только половину задуманнаго; но если бъ писатель изобразилъ половину жизни Д-ія, мы бы, вѣроятно, прочли о жизни человѣка успокоившагося, „нашедшаго себя въ себѣ самомъ“, человѣка, пришедшаго къ своему „русскому Богу“, Котораго онъ всю жизнь жаждалъ и отъ Котораго его съ силою отбрасывали далеко въ сторону страсти, бушевавшія въ его крѣпкомъ организмѣ потому, что не было имъ достаточнаго противовѣса. Но противовѣсъ, слава Богу, найденъ теперь, и Димитрій, безъ сомнѣнія, дѣломъ самымъ поработалъ бы той правдѣ, которая открылась ему въ памятномъ снѣ. И въ этомъ было бы его спасеніе. Но все же такой конецъ Димитрія, хотя бы и былъ психологически вѣренъ, однако, фактически—и это весьма вѣроятно—Димитрій могъ бы не дожить до свѣтлой полосы своей жизни: такіе люди, какъ онъ самъ создаютъ себѣ на каждомъ шагу роковыя обстоятельства, сводяшія ихъ съ смертью нерѣдко гораздо раньше, чѣмъ это могло бы случиться при иномъ характерѣ человѣка. Вѣдь совершенно вѣрно говоритъ Димитрій Алешѣ—послѣ своего осужденія на каторгу: „Вотъ что еще я хотѣлъ тебѣ сказать: если бить стануть дорогой, аль тамъ, то я не дамъ,— а убью; и меня разстрѣляютъ“... Очевидно, что только счастливая случайность могла бы дать возможность Димитрію явить собою въ будущемъ нормальнаго, просвѣтленнаго человѣка. Ну, а разъ случайность можетъ играть такую роль въ жизни человѣка, значитъ зданіе строится не на прочномъ фундаментѣ.

Вулканическій Димитрій — повторяемъ — представляетъ собою отрицательное рѣшеніе вопроса о жизни осмысленной и счастливой, хотя свѣтъ такой жизни и

мелькнулъ предъ глазами его въ будущемъ. А пока Димитрій фактически прежній Димитрій—работы надъ собой еще не было. Въ крайнемъ случаѣ, онъ—лучшее изъ худшаго. Такимъ образомъ, ни пассивное слѣдованіе похотямъ и страстямъ, какъ въ Карамазовѣ-отцѣ, ни вулканическое бурленіе жизни, какъ въ Димитріи, не есть настоящая, цѣнная жизнь.

Обратимся теперь къ Ивану Карамазову. Уравновѣшенный, владѣющій собой, умница перворазрядный, жаждущій правды не меньше Димитрія, имѣющій сверхъ всего еще и то преимущество предъ братомъ, что не представляетъ собою раздираемое страстями существо, Иванъ, повидимому, обладаетъ всѣми данными, чтобъ уразумѣть и раскрыть подлинный смыслъ жизни, а заодно съ этимъ—постигнуть и тайну счастья. Посмотримъ и послушаемъ.

Иванъ—философъ, однако не такой, который паритъ въ надзвѣздномъ туманѣ абстрактныхъ идей, созерцая съ высоты своего полета бытіе и жизнь какъ бы стеклянными, безучастными глазами.

Иванъ—философъ-мученикъ, ищущій жизненной, а не абстрактной (въ сущности, мало пригодной человѣку) правды. Въ головѣ Ивана гвоздемъ засѣлъ мучительный вопросъ о смыслѣ человѣческихъ страданій, и въ особенности—страданій ни въ чемъ лично неповинныхъ маленькихъ дѣтей. Этотъ вопросъ коренной для него, а такъ какъ никакой умъ человѣческій разрѣшить его не можетъ въ положительную сторону, а съ рѣшеніемъ въ сторону отрицательную чувство правды мириться не хочетъ, то и понятно глубоко трагическое состояніе Ивана.

Иванъ—атеистъ, но не поставившій точку; онъ изъ „ищущихъ“, но ищущихъ гордо, самостоятельно, опираясь на силу „эвклидоваго“ ума своего. И вотъ, какъ ни напрягаетъ онъ всю силу своего ума, осмысленіе абсурдовъ и ужасовъ жизни не дается ему: страданія и злоба царятъ на несчастной землѣ, радостей мало, гармоніи, по которой такъ болитъ душа, не только нѣтъ, но и не предвидится... Его уму уже предносится идея Бога жестокаго, но онъ чувствуетъ всю нелѣпость этой идеи и предпочитаетъ лучше со-всѣмъ остаться безъ Бога, если Бога благостнаго

онъ понять не можетъ. Онъ, по его собственному признанію, не отрицаетъ Бога, но и не признаетъ Его: ни для отрицанія, ни для признанія онъ не находитъ достаточныхъ, вполне убѣдительныхъ научныхъ основаній; онъ просто не принимаетъ Бога, если даже Богъ и есть. Это какой-то особенный атеизмъ, выросшій не на теоретической почвѣ знанія, а, повидимому, на высшей—этической, какъ и представляется это самому Ивану Карамазову, несмотря на странность, парадоксальность даже такой мысли. Чувствуется, что здѣсь именно и заключается та сила „атеистическихъ выраженій“, которыхъ и въ Европѣ не было“ (какъ писалъ Достоевскій Кавелину).

Но убѣжденіе въ правотѣ своего не принятія Бога (а этимъ самымъ и отрицанія Его) не даетъ Ивану ни покоя, ни счастья; оно породило лишь тягостное сознаніе или, вѣрнѣе, ощущеніе совершеннаго одиночества въ необъятномъ мірѣ. Нѣтъ точки опоры для сердца и воли — что любить? Что ненавидѣть? Что дѣлать? Чего не дѣлать? А главное — за чѣмъ и любить, и не любить, и дѣлать, и не дѣлать?.. Тяжелы эти вопросы для человѣка, который ясно сознаетъ свое превосходство надъ неразумною тварью, не задающеюся никакими подобными вопросами. Есть, правда, люди, которые относятся спокойно къ такимъ вопросамъ: ихъ миритъ съ жизнью самый фактъ жизни. Разсужденія ихъ просты: разъ, молъ, такъ устроено, что $2 \times 2 = 4$, а не 5 или 6, то противъ этого уже ничего не подѣлаешь, поневолѣ принять надо, если бѣ и не нравилось. Отъ вѣка и голодъ, и холодъ, и муки, и смерть, отъ вѣка правда и ложь борются, переплетаясь въ этой борьбѣ такъ, что порою нельзя и различить, гдѣ правда, гдѣ ложь; стало быть, это и есть предуставленное отъ вѣка $2 \times 2 = 4$, а иначе и быть не можетъ; таковъ, значитъ, законъ жизни, и ничего тутъ не подѣлаешь.

На первый взглядъ такое разсужденіе кажется дѣльнымъ: противъ таблицы умноженія, точно, не пойдешь. Но бѣда-то не въ таблицѣ умноженія, а въ томъ, что жизнь человѣческая никакъ не укладывается въ тѣсныя рамки этой бездушнѣйшей таблицы. Примирительная философія, въ родѣ только что приведенной, есть голосъ раба, не царя природы, да и раба-то гаденькаго, беско-

вѣстнаго, потому что, такъ разсуждая, такъ ублаживая себя, онъ знаетъ вѣдь, не можетъ не знать, что во многихъ случаяхъ и голодъ, и холодъ, и страданія, и преждевременная смерть, и всякое иное зло есть результатъ сознательныхъ человѣческихъ дѣяній, а вовсе не слѣпыхъ силъ природы, и валить всякую мерзость на мать-природу, забывая о себѣ, о своей отвѣтственности, по меньшей мѣрѣ, несправедливо. Жалкіе рабы слѣпой природы забываютъ о могуществѣ нравственнаго начала въ человѣкѣ.

Но не таковъ Иванъ Карамазовъ. Рабская философія его не можетъ удовлетворить. Однако и гордое признаніе въ себѣ высшаго, нравственнаго начала не даетъ нашему философу прочной основы для жизни и счастья. Онъ страдаетъ.

Несмотря на свою молодость, Иванъ Карамазовъ успѣлъ уже многое пережить и передумать, или, точнѣе, подвергнуть безпощадному критическому анализу. И вотъ онъ уже близокъ къ отчаянію: анализъ почти окончательно убилъ въ немъ надежду найти смыслъ жизни. Натура гордая, онъ свое несчастье носить съ собою молча,—неохотно и мало говорить. Въ этотъ моментъ своей жизни и появляется онъ предъ нами въ романѣ.

Иванъ Карамазовъ начинаетъ обнаруживаться предъ читателями въ главѣ „Неумѣстное собраніе“. Отчасти разыгрывая роль Мефистофеля, отчасти изъ-за тайной маленькой надежды на возможность получить разрѣшеніе мучившихъ его „проклятыхъ“ вопросовъ, онъ начинаетъ развивать передъ слушателями въ кельѣ Зосимы идею превращенія государства въ церковь, въ результатъ чего (т. е. такого превращенія) и окажется, что воцареніе на землѣ высшей правды—не пустая мечта. Одинъ изъ свѣтскихъ собесѣдниковъ (Миусовъ) заподозрилъ Ивана въ неискренности и поспѣшилъ заявить, тутъ же, что „не далѣе, какъ дней пять тому назадъ, онъ (Иванъ Ѳедоровичъ) торжественно заявилъ въ спорѣ, что на всей землѣ нѣтъ рѣшительно начала такого, чтобъ заставлятъ людей любить себѣ подобныхъ... и что если и есть и была до сихъ поръ любовь на землѣ, то не отъ закона естественнаго, а единственно потому, что люди вѣровали въ свое безсмертіе. Такъ